

Алексей Феофилактович Писемский

Батька



Алексей Феофилактович Писемский

Батка

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=661285

*А.Ф.Писемский. Собр. соч. в 9 томах. Том 2: Издательство
«Правда», биб-ка «Огонек»; М.: 1959*

Аннотация

«Я как теперь вижу перед собой нашу голубую деревенскую гостиную. На среднем столе горят две свечи. На одном конце его сидит матушка, всегда немного чопорная, в накрахмаленном чепце и воротничках и с чулком в руке. Отворотясь от нее, сидит на другом конце покойный отец. Он, видимо, в дурном расположении духа и беспрестанно закидывает в сторону, на печку, свои серые навывате глаза...»

Содержание

I	4
II	11
III	21
IV	27
V	51
Примечания	56

Алексей Феофилактович Писемский Батька *Рассказ*

I

Я как теперь вижу перед собой нашу голубую деревенскую гостиную. На среднем столе горят две свечи. На одном конце его сидит матушка, всегда немного чопорная, в накрахмаленном чепце и воротничках и с чулком в руке. Отвортясь от нее, сидит на другом конце покойный отец. Он, видимо, в дурном расположении духа и беспрестанно закидывает в сторону, на печку, свои серые навывкате глаза. Я... мне всего лет двенадцать... забрался в углу на мягкое кресло и сижу погруженный в неведомые самому для меня мысли. Прямо против меня отворенная дверь в залу. Оттуда только и слышится, что ровное пощелкивание маятника настенных часов, и навевает на вас чем-то грустным и печальным. Вдруг раздался тихий скрип половиц. Не знаю, отчего у меня как-то болезненно замер-

ло сердце. Это входил своей осторожной походкой наш самый богатый из всей вотчины фомкинский мужик Михайло Евплов, старик самой почтенной наружности, всегда ходивший несколько брюхом вперед, с низко-низко опущенной пазухой, совсем уж седой, с густо нависшими бровями и с постоянно почти опущенными в землю глазами, всегда с расчесанной головой и бородой, всегда в чистом решменском кафтане и не в очень грязных сапогах. Даже руки у него были какие-то белые, нежные, покрытые только небольшими веснушками, точно он никогда никакой черной работы и не работал. Будучи верст на тридцать единственным мясным торговцем, Михайло Евплов вряд ли в околотке был не известнее, чем мой покойный отец, так что тот иногда в шутку говаривал своим знакомым:

«Честь имею рекомендоваться, я Михайла Евплова барин».

В нашем небогатом деревенском хозяйстве, сколько я теперь могу припомнить, Михайло был решительно благодетельным гением: случалась ли надобность отдать в работники пьянчужку-недоимщика, Михайло Евплов брал его к себе и уж выжимал из него коку с соком, приходила ли нужда в деньгах, прямо брали их займы у Михайла Евплова, нужно ли было отпра-

вить рекрутство, подать ревизские сказки¹, Михайло Евплов ехал, хлопотал, исполнял все это аккуратнейшим образом, не получая себе за то никакого возмездия, а, напротив того, платя чуть ли еще не в полтора раза более против других оброка. На этот раз вслед за ним» вошел сын его Тимка, совсем рабочий малый, лет двадцати двух, подслеповатый, нескладный, словно из какого-нибудь сучковатого дерева сделанный, и с год перед тем только что женившийся. Батька, говорят, лет еще с десяти начал заставлять его бить скотину и теперь постоянно мормя-морил на работе. Войдя в комнату, Тимка прямо, не поднимая ни головы, ни глаз, как-то механически поклонился матушке в ноги. Та потупилась и повела только рукою, желая тем показать, чтобы он этого не делал. Тимофей перешел и поклонился отцу в ноги. Тот отвернулся от него и окончательно закинул глаза на потолок.

– Что, поучили? – спросил он несколько дрожащим голосом.

Тимофей ничего не отвечал, а молча отошел и встал несколько поодаль от батьки.

– Поучили, кажется, хорошо... Не знаю только, поймет ли то, – проговорил Михайло Евплов грустным то-

¹ Ревизские сказки – списки, составлявшиеся во время переписи (ревизии) лиц, подлежащих обложению подушной податью; в данном случае – списки крепостных мужского пола.

НОМ.

– Это за то тебе, – продолжал покойный батюшка (голос его не переставал дрожать), – за то, что не смей поднимать руки на отца. Не прав он, бог с него спросит, а не ты...

Михайло Евплов вздохнул на всю комнату.

– Мало они что-то это разумеют, в каждом пустяке только и ладят, что нельзя ли как отцу горло переесть... – сказал он и еще грустнее склонил голову на сторону.

– Ну, Михайло Евплов! – вмешалась в разговор уж матушка. – Трудно тоже, как и тебя посудить? Старший сын у тебя охотой в солдаты пошел, второй спился да головой вершил, наконец, и с третьим то же выходит?

На последних словах она развела в недоумении руками.

Лицо Михайла Евплова сделалось окончательно умиленным.

– Ай, матушка, Авдотья Алексеевна! – воскликнул он почти плачущим голосом. – На все тоже божья власть есть: кто в детях находит утешение, а кто и печали... Вы сами имеете дитя: как знать, худ ли, хорош ли он супротив вас будет.

Матушка вспыхнула.

– Ну, мое дитя ты привел тут напрасно... совершен-

но напрасно! – сказала она и сердито понюхала табак.

Михайло Евплов тоже сконфузился, видя, что, не думая и не желая того, он проврался.

– Это точно что-с... – проговорил он и переступил с ноги на ногу.

– Ежели ты опять то же будешь делать, опять тебе то же будет!.. – обратился покойный отец снова к парню, гораздо уже подобнее, но все еще, видно, желая втолковать ему, что он виноват.

Парень пораспустился.

– Мне бы, бачка Филат Гаврилыч, в раздел охота идти-с! – произнес он каким-то необыкновенно наивным голосом.

Все мускулы в лице отца подернуло. Я видел, что он страшно вспылал.

– Не позволят вам того! – больше прошипел он, чем проговорил, между тем как щеки и губы его дрожали. – Казенным крестьянам велят делиться? Велят? – спрашивал он, обращая на парня страшный взгляд.

Михайло Евплов грустно усмехнулся.

– Да прикажите, пускай попробуют... Мякины-то отродясь не едали, а тут, может, и отведают... Теперь какой-нибудь овинишко в двадцать снопов с своей благоверной измолотят, лопать-то придут, в чашку валят, сколько только чрево стерпит.

– Что ж ты их куском уж хлеба попрекаешь? – вмешалась в разговор опять матушка.

Михайло Евплов сейчас же переменял тон.

– Не попрекаю я, сударыня, нет-с! – отвечал он кротко. – Ни в чем им от меня запрету нет: ни в пище, ни в одежде, ни в гуляньях. Пусть скажут, в чем им, хоть сколько ни на есть, от меня возбранено.

– Ну да! В чем вам от него возбранено? – повторил за ним и отец.

Тимофей жалобно и стыдливо посмотрел на него.

– Не могу я, бачка, про то сказывать-с! – отвечал он и как-то странно засеменил руками.

– Отчего не сказывать? Говори! – сказал отец настойчиво.

Михайло Евплов как будто бы слегка вспыхнул.

– Выдумать да наболтать, пожалуй, всяких пустяков можно... – произнес он.

Тимофей молчал.

Матушка на этом месте встала и вышла. Отцу тоже, видно, была не совсем легка эта сцена.

– Ну, ступайте! – сказал он, закидывая, по обыкновению, глаза в сторону.

Михайло Евплов, однако, не трогался. Он, кажется, переживал, чтобы первый пошел сын. По лицу Тимки мне показалось, что он хотел что-то сказать, но не смел ли, или не хотел этого сделать, только круто по-

вернулся и пошел.

– Вы уж, батюшка, сделайте милость, прикажите, чтоб и супружница его слушалась и не фыркала... – сказал Михайло Евплов.

– Чтоб и супружница слушалась, слышь! – повторил отец, грозя Тимке пальцем.

Но тот ничего не отвечал, и я слышал, что он сердито хлопнул в лакейской дверями.

Михайло Евплов постоял еще несколько времени, покачал в раздумье головой и проговорил:

– Такой этот нынче молодой народ стал, что срам только один с ним.

Но, видя, что отец ничего ему не отвечает, он тоже повернулся и пошел, – но залу стал проходить медленно, неторопливо и все точно к чему-то прислушиваясь.

II

Прошло времени недели с две. Мы ужинали. Отец (он все это время был заметно в дурном расположении духа и теперь кидаящий то туда, то сюда свой беспокойный взгляд) вдруг побледнел и, проворно вставая, проговорил:

– Фомкино горит!

Мы взглянули по направлению его глаз: все наши окна были залиты заревом.

– Батюшка, может быть, это овин! – хотела было успокоить его матушка.

– Вся деревня, сударыня, в огне!.. Выдумала!.. Лошадь мне! – кричал старик, проворно сбрасывая с себя халат.

Матушка сама стала ему подавать одеваться: горничная прислуга вся уж разбежалась по избам, чтобы поразузнать и поохать насчет пожару. В залу вошел наш приказчик Кирьян, со своей обычной, не совсем умной и озабоченной рожей и теперь совсем опешивший от страху.

– В Фомкине несчастье-с! – проговорил он.

– Людей туда!.. Лошадь мне! – говорил батюшка, застегивая дрожащими руками свой полевой чепан.

Мне тоже захотелось съездить на пожар.

– Папаша, возьми меня! – запросился я.

– Перестань, пащенок! – прикрикнул было на меня старик.

Но я не отставал:

– Папаша, возьми!

– Ах ты!.. Ну, поезжай!

Он вообще любил несколько геройские с моей стороны выходки; но матушка напротив.

– Алексей, что ты хочешь со мной делать?.. Пощади ты меня хоть сколько-нибудь! – сказала она в одно и то же время строгим и умоляющим голосом.

Но я уже почти не слышал ее: выбежав на улицу и видя, что поваренок Гришка вел оседланную лошадь, я отнял ее у него и сейчас же на нее взгромоздился. Со стороны от Фомкина слышался наносимый ветром беспорядочный звон набатного колокола. Через несколько минут привели и отцу беговые дрожки. Точно молоденький мальчик, он проворно, хоть и тяжело, опустился на них. Человек шесть дворовых людей было около нас верхами. На крыльце появилась матушка.

– Возьмите неопалимую купину, что вы, на кого надеетесь? – сказала она.

Кирьян подъехал к ней и, приняв у нее образ, положил его, перекрестясь, за пазуху. Пока мы съезжали со двора, матушка не переставала нас крестить

вслед. Проехать нам надобно было версты две – три лесом. Ночь была осенняя, темная. Несмотря на колеи и рытвины, отец погнал свою лошадь что есть духу. Мы скакали за ним. По всем направлениям от нас раздавался топот наших лошадей и слышались шлепки летевшей из-под копыт их грязи. Рядом же с нами и нисколько не отставая, бежал вприпрыжку спешенный мною с лошади Гришка-поваренок и бежал, надобно сказать, сохраняя ужасно гордый вид, который был дан ему как бы от природы, вследствие покривленного в детстве позвоночного столба.

– Ату, ату его! – травил его кучер Петр, доставая в спину ветвиной.

– Это он на дымок бежит... поварская душонка: услышал, что гарью-то пахнет, – заметил ткач Семен.

По другую сторону дороги шел более солидный разговор.

– В сеннике у Евплова загорелось и пошло, братец ты мой, вить, боже ты мой! – говорил Кирьян.

– Ишь ты, поди, где греху-то быть! – отвечал ему на это басом и со вздохом другой голос.

Набат становился все слышнее и слышнее. Сколько ни печальное ожидало нас впереди зрелище, но при этом быстром скаканье на лошади, в глухую ночь, в лесу, при этом хлопанье воротец, которые кучер Петр на всем маху, не слезая с лошади, отворял и

так же быстро отпускал их, мое детское сердце исполнилось какой-то злобной радостью: мне так и хотелось битв, опасностей и побед. При въезде в открытое поле первое, что представилось нам, – это стоявшая несколько поодаль от селения, на совершенно темном фоне, белая церковь, освещенная пожаром до малейших архитектурных подробностей и с блистающими красноватым светом главами и крестами. Пламя выходило почти из половины деревни и, склоняемое ветром, уже зализывало огромными языками близстоящие к нему строения. Вверху над всем этим клубился сероватый дым, в котором летали чего-то огненные куски и кружились какие-то белые птицы. В самом селении перед пламенем мелькали черные фигуры мужиков и баб. Отовсюду слышался шум и гам, сливавшийся со звоном колокола. Сидевшие около вынесенных на середину улицы пожитков старухи и ребятишки выли и ревели. Выгнанная из хлевов скотина: коровы и лошади, – все столпились в кучку и, заметно под влиянием какого-то непонятного для них страха, прижались к церковной ограде, – одни только дуры-овцы, тоже скучившиеся в одно стадо и кинувшиеся было сначала прямо на огонь, но шугнутые оттуда двумя – тремя взвизгнувшими бабенками, неслись теперь далеко-далеко в поле. Перед сгоревшим почти уже вполовину домом Михайла Евпло-

ва была целая толпа людей, и они не унимали пожара, а на что-то такое друг через дружку заглядывали, и несколько голосов говорило: «Полно!.. Перестань!.. Старый!» Посреди всего этого раздавалось: «Пустите!.. Пустите!»

Мы быстро подъехали: это Михайло Евплов рвался из рук двух наших мужиков. Спокойной наружности в нем и следа не оставалось: он был в одной разорванной рубаше, босиком, с обезумевшими глазами и с опаленными, всклоченными волосами.

– Что такое? – спросил отец.

– В огонь рвется, сгореть хочет, – отвечал один из мужиков. – О дьявол, какой здоровый! – прибавил он, гробаздая снова старика за ворот, который тот было у него вырвал.

– Оттащите его подальше, в лес, – приказал отец.

– Батюшка, пусти!.. Пусти!.. – кричал Михайло Евплов.

Но мужики его потащили. Сделав еще раз тщетное усилие вырваться у них, он завопил, как дикий зверь, и вцепился зубами в собственную руку – кровь фонтаном брызнула из-под его рта и усов. Мужики отвели ему эту руку назад за спину и продолжали его тащить.

– Батюшки! У Матрены Лукояновны уж загорелось! – раздался пронзительный женский голос.

Все бросились туда.

Покойный отец тоже проворно соскочил с дрожек и потом – уж я не знаю, как это и случилось при его полноте, – вдруг очутился на крыше этой самой избы.

– Снимайте кафтаны, мочите их и давайте сюда! – командовал он оттуда.

Первый бросился ему помогать самый бедный из всей деревни мужик Спиридон, по фамилии Кутузов. Собственная изба его давно уже сгорела, и он, кажется, из нее и вынести ничего не успел, но, несмотря на то, нисколько не потерявшись, начал он усерднейшим образом подавать воду, понукать и ругать других мужиков и особенно баб, что-нибудь не по его или непроворно делавших.

Кирьян между тем достал из-за пазухи неопалимую купину и, взяв ее на руки, как обыкновенно носят иконы, стал с нею обходить еще не загоревшуюся часть селения. Вдруг пламя из косога направления приняло прямое, поколебалось несколько минут и снова склонилось, но уже в поле, в сторону, противоположную от деревни.

– Господи! Полымя-то на лес пошло!.. Царица небесная! – заголосили бабы.

Мужики только молча перекрестились. Отец, молодцевато и скрестивши руки, стоял на крыше. Я же и Кутузов, бог уж знает для чего, ухвативши – он с одного конца багром, а я с другого кочергой, – тащили го-

рящее бревно. Оно, наконец, рухнуло и жестоко ударило одну бабу по боку, так что она кувыркнулась и не преминула нам объяснить: «Ой, дьяволы, лешие экие!» Бревно порядком задело и меня, так что я едва выцарапал из-под него ноги. Правая штанина у меня загорелась, и, только уж плюя на нее и обжегши все себе руки, я успел ее затушить. Все это видевший с крыши отец побледнел.

– Ступай, глупой мальчишка, домой! – закричал он, заскрежетав зубами.

Я было вздумал отпрашиваться.

– Мать беспокоится, а он тут... Петр, отвези его домой! – говорил старик, выходя из себя и грозя мне кулаками.

– Поедемте, судырь! Что тут барчику делать! – посоветовал мне и Петр.

Я, делать нечего, взмогнулся на своего коня и отправился. Петр последовал за мной. Я всегда любил бывать с этим человеком за его веселый и разговорчивый характер.

– Что, Михайло Евплов плачет еще? – спросил я его.

– Поуняли маненько, поукачали... раза три в огонь-то врывался: все хотелось кубышку-то с деньгами выцарапать.

– А много денег у него было?

– Много, черт его дери, накопил... тысяч десять, говорят, было...

– А сын его Тимка – тоже плачет?

– Да, тут тоже присутствует, – отвечал Петр, – только слез-то не больно что-то видать у него, – прибавил он как бы в некотором размышлении.

Я дал шпоры лошади и поскакал марш-марш.

– Тише, тише, барин! Право, маменьке скажу! – говорил Петр.

Но я знал, что он не скажет.

Матушка нас встретила только что не на крыльце.

– И не стыдно тебе, не грех так меня мучить? – сказала она.

Я поспешил поцеловать у ней руку и стал ей представлять почти в лицах, как огонь горел, как Михайло Евплов плакал.

– Ну, не говори... будет! – произнесла она, махая мне рукой и сама готовая почти разрыдаться.

Видневшееся из наших окон пламя все становилось меньше и меньше. Через час после того приехал и отец. Загрязненный, залитый почти с ног до головы водой и чем-то, должно быть, еще более раздраженный, он шумно вошел в залу. Вслед за ним поваренок Гришка, вспотевший, как мокрая мышь, и с закоптелым лицом Кирьян ввели под руки Михайла Евптова. Он был в чем-то чужом полушубчике, весь дрожал;

рука и лицо его были в крови.

– Посадите его тут! – сказал отец.

– Его надобно напоить чаем или мятой: он весь продрог! – сказала матушка.

Несчастный старик замотал головой.

– Нет, матушка: водочки дай! Дай водочки! – проговорил он.

Матушка поспешно пошла и сама принесла ему целый стакан.

Михайло Евплов выпил его дрожащими губами из ее рук. Она после того хотела было подать ему кусок пирога, но он молча отвел его руками.

– Сведите его в людскую, да чтобы он не сделал там чего-нибудь над собой – я с тебя спрошу, – сказал отец Кирьяну.

Тот с Гришкой хотел было поднять Михайла, но он не дался им и повалился отцу в ноги.

– Батюшки, благодетели мои! Не оставьте меня, несчастного! – стонал он.

– О старый дурак! Сказано, что не оставят – бога только гневит, – вспылил отец, между тем как у него у самого текли по щекам слезы.

– И ее, злодейку, накажите, и ее! – бормотал Михайло Евплов, ползая по полу и хватая отца за ноги.

– И ее накажут! Отведите его! – говорил тот, едва сдерживая себя.

Гришка и Кирьян подняли, наконец, бедного старика и увели.

Меня вскоре после этого послали спать, но я долго еще слышал из своей маленькой комнаты, что отец и мать разговаривали.

– Поджог! – говорил тот своим отрывистым тоном.

– Господи помилуй! – восклицала на это матушка.

– Невестушка... сынок... – повторял несколько раз отец.

– Боже ты мой, царица небесная! – говорила матушка.

III

Проснувшись на другой день поутру, я услышал по всему дому какое-то шушуканье и торопливую хлопотню. Гришка-поваренок, между прочею своею службою обязанный меня одевать, пришел, по обыкновению, с сапогами в руках и с глупо форсистой рожей остановился у косяка.

– Что там такое шумят? – спросил я его.

– Папенька ваш в город уехали-с, – отвечал он, почему-то еще гордее поднимая голову.

Я всегда был очень доволен, когда отец куда-нибудь уезжал: его суровость, его желчное и постоянно раздраженное состояние духа, готовое каждую минуту вспыхнуть, пугали меня, а потому и на этот раз, исполнившись мгновенно овладевшим мною восторгом, я начал перевертываться на постели на спину, на грудь и задрыгал ногами, приговаривая:

– Зачем он уехал, зачем?

– Не знаю-с! – отвечал Гришка и, наскучив, вероятно, стоять передо мной, сдернул с меня одеяло и урезонивал меня:

– Перестаньте баловать-то!.. Надевайте сапожки-то!.. Мне стряпать пора.

– Я сегодня приду к тебе в кухню, приду... приду... –

напевал я.

– Я сегодня не в кухне стряпаю, а у бабушки Афимьи, – отвечал Гришка и самолюбиво закинул свое рыло в сторону.

– А вот врешь, врешь, – перебил я его, думая, что он хочет только от меня отделаться.

– Право-с! – повторил Гришка. – В кухню-то Тимофея с хозяйкой под караул посадили, – прибавил он уже мрачным голосом.

– За что?

– Папенька приказали-с...

Последнее слово Гришка протянул.

– А Михайло Евплов где?

– В людской лежит... стонет таково на всю избу.

У меня вдруг пропала вся моя веселость; я молча оделся, молча и тихо вышел. В девичьей сидела наша старуха ключница Афимья и старательно-старательно пряла. Это было всегда признаком, что она до бесконечности злилась.

– Афимья! За что Тимофея с женой под караул посадили? – спросил я ее таинственно.

– Не знаю, сударь! – отвечала она явно укоризненным тоном.

– Ну вот! Не может быть, скажи!

– Не знаю, батюшка... папенькина воля! – повторила она и вздохнула.

Семья Михайла Евплова приходилась ей сродни.

Я отправился на улицу. День был ясный, светлый; осеннее солнце грело точно середь лета; вновь подросшая на красном дворе после недавнего дождя трава свежо зеленела; в воздухе быстро и весело летали ласточки; более десятка сытых и лоснящихся на солнце лошадей гуляли на ободворке. Тимка с женой не выходили у меня из головы. Я решился подсмотреть, что они делают, и потихоньку вошел в кухонные сени, но там на дверях я увидел огромный замок; оставалось одно средство – заглянуть с улицы в окно, но я почему-то совестился это сделать и придумал такого рода хитрость, что взмогнулся на близстоящие около кухни дроги, с которых все было видно, что происходило во внутренности избы: Тимка сидел у стола и смотрел в землю – в лице его, кроме обычной мрачности, ничего не выражалось. На другой лавке лежало что-то наглухо закутанное кафтаном. Я догадался, что это была жена его Марья. Мне сделалось страшно и почему-то показалось, что она умерла и что это был уже только труп ее. Я по крайней мере раз пять влезал на дроги, и в последний раз, наконец, скрылся и Тимка, и только по видневшимся его лаптям я понял, что и он тоже лег, но только вглубь, в куть избы. Между тем Марья не переменяла своего положения, и это окончательно меня убедило, что она умерла. В страхе

и не зная, с кем бы им поделиться, я несколько времени ходил по двору, людей, как всегда это бывало в летнее время, не было почти никого дома, все были на работе, и только из Афимьиной избы слышно было, что Гришка отчаянно рубил котлеты или начинку в пирог, выбивая ножами складно трепака. Я подошел к окну, которое было полурастворено и из которого валил дым и жар.

– Григорий, а Григорий? – повторил я несколько раз.

– Чего вам-с? – отозвался он, наконец, гордо высывая свою морду в окно.

– Там в кухне Марья лежит: не умерла ли уж она?

– Да с чего ей умереть?

– А что же она все лежит?

– Спит, чай, – отвечал он мне и самолюбивейшим образом повернулся и отошел от окна.

Я простоял на своем месте несколько времени, как опешенный, и за обедом решился наконец свое беспокойство сообщить матери.

– Маменька, Тимофея с женой под караул посадили: ну, как они там умрут? – сказал я.

Мать сначала посмотрела мне в лицо и потом, проговоря: «Какие ты глупости говоришь», – сама вздохнула.

Тотчас же после стола я опять отправился на дроги, и – не могу описать вам моего восторга – Марья боль-

ше уж не лежала, а сидела, красивое лицо ее было не столько печально, сколько измято, платок на голове несколько сбит, и рубашка на груди расстегнута.

«А что, Михайло Евплов жив ли?» – подумал я и прямо с дрозг пошел в людскую. Изба эта, так как в ней пеклись людские хлебы и варилось для дворовых варево, была самая жарко натопленная и постоянно почти пустая; в этот раз я в ней только и нашел, что десятка три мух, ползавших по столу и подъедавших оставшиеся тут крохи хлеба и квасные пятна. Я заглянул за перегородку. Там в зыбке лежал один-одинехонек полугодовалый сынишко стряпухи с поднятой почти до самого горла рубашонкой. Только что перед тем, вероятно, распеленатый, он с величайшим, кажется, наслаждением смотрел себе на кулачки и сгибал и разгибал свои ножонки. По веселому личику его тоже ползла муха, и он от этого только слегка поморщивался. Я согнал ему эту муху; он еще больше улыбнулся. По стоявшей на голбце кваснице я сообразил, что больной, должно быть, лежит на печке. Встав на нижнюю ступеньку, я потихоньку заглянул туда, но по темноте ничего не мог рассмотреть, и только оттуда сильно пахло квашней. Я поспешил слезть и уйти. Целый день я ходил как шальной, не зная, за что бы приняться и что бы начать делать. К вечеру моя детская фантазия еще более разыгралась, и, когда ме-

ня уложили в постельку и оставили одного в комнате, мне стало и жаль арестантов и в то же время я боялся их. «Они целый день ничего не ели, и теперь они лежат и им тошно!» – думал я, а потом мне вдруг представлялось, что Тимка непременно выломает окно, вылезет, возьмет топор и зарубит меня и маменьку. Страх этот во мне дошел до того, что я прислушивался к каждому, довольно отдаленному от меня хлопанию дверьми в девичьей, к малейшему шуму в лакейской, наконец, когда явно услышал, что в зале кто-то ходит, я не утерпел, вскочил и выглянул туда.

– Кто это? – произнес я почти обмирающим от ужаса голосом.

– Я это, батюшка, – отвечал мне голос.

Оказалось, что это Афимья пришла в зал молиться.

Я несколько поуспокоился и опять улегся...

IV

Часу во втором ночи тот же Гришка меня разбудил.

– Ступайте в темненькую комнату ночевать-с, – сказал он.

– Что... зачем? – спросил я спросонья и в испуге.

– Исправника тут положат – приехал.

Не поняв хорошенько, в чем дело, я, однако, встал и босиком, в одной рубашонке, завернувшись в одеяльце, прошел по довольно холодному коридору и, укладываясь на новое свое место, разгулялся; в гостиной я слышал, что отец с исправником ужинали. Отец что-то такое вполголоса и, по обыкновению своему, отрывисто рассказывал ему, на что исправник громко хохотал, вслед за тем кашлял, харкал. Остававшееся праздным мое воображение начало представлять себе исправника огромным мужчиной с огромным животом. Но это оказалось не совсем так: когда я на другой день вышел к чаю, то увидел, что с отцом раскланивался небольшого роста мужчина, с сутуловатым бычачьим шиворотком, широкий в плечах и с широкою львиною грудью.

– Итак, я иду, – говорил он.

– Сделайте одолжение, – отвечал отец рассеянно.

Матушка, разливавшая чай, держала глаза потуп-

ленными.

Исправник пошел. Я перебежал в девичью, чтобы оттуда из окна наблюдать за ним. На крыльце его встретил с бляхой на груди и падогом в руке сотский и снял шапку. Исправник сделал усилие приподнять несколько свою сутуловатую голову. Сидевшие на колоде наши мужики-погорельцы при виде его тоже встали и сняли шапки. Исправник сделал еще более усилия приподнять свою голову. Сотский в некотором отдалении и не надевая шапки следовал за ним. Они прошли в кухню. Вскоре после того в кухонные сени вышел Тимофей и сотский, и оба флегматически остановились в дверях на улицу – один у одного косяка, а другой – у другого, и оба ни слова не говорили между собою. Мужиков пять из погорельцев, один за другим, слезли с колоды и разлеглись по траве: пригретые солнцем, они вскоре тут заснули. Тимофея наконец увели в кухню, и вместо него сотский вывел Марью. Она уселась на рундучке и пригорюнилась. Сотский с убийственным равнодушием глядел ей в спину. Я перешел в залу. Там отец ходил взад и вперед, закидывая глаза вправо и влево, разводил руками и что-то такое нашептывал. Мать затворилась в своей комнате и, должно быть, молилась. Ключница Афимья, с явными уже слезами, текшими по ее морщинистому лицу, приготавливала закуску.

Не зная, куда от тоски и скуки деваться в доме, я вышел на улицу. Марьи уже не было на крыльце, и стоял один только сотский, куря из коротенькой, но в медной оправе трубчонки и сплевывая по временам сквозь зубы тонкой струей слюну. Я осмелился подойти и заговорить с ним.

– Что там делают? – спросил я его, указывая на кухню.

– Допрашивают-с, – отвечал он мне, осматривая меня с ног до головы.

– Что же допрашивают?

– По делу-с, по поджогу... вы сынок, что ли, здешнего-то барина?

– Сын.

– Похожи маненько на папеньку-то, – заключил сотский и своей зачерствелой рукой погладил меня по голове.

В это время Гришка, в совсем уж дурацкой, с высочайшими воротничками манишке и в сюртуке, далеко шитом не на его рост, форсисто пронес в кухню закуску с графином водки и с двумя бутылками наливки.

– Вы в горницу взойдите и завтракать ступайте в людскую, – сказал он, проворно проходя и кивая сотскому головой.

Тот стыдливо пошел в девичью, и когда возвратился оттуда, то самодовольно обтирал рукавом усы: ви-

димо, что он получил приличную порцию. Проходя в людскую мимо спящих мужиков и заметно повеселев, он ткнул одного из них своим падожком и проговорил: – Что ты тут, черт, дрыхнешь?

Мужик приподнял немного голову, взмахнул на него глаза и опять улегся.

Невдолге после того Гришка вынес из кухни закуску обратно, с выпитым почти до дна графином и с объедками пирога и колбасы. Две бутылки наливки остались еще там. Затем сцены на дворе значительно оживились: сначала в сени выбежал длинноносый чиновник, вероятно, писарь исправника, и, видя, что никого тут нет, и проговоря: «Никогда его, шельмы, нет на месте!..» – крикнул погорельцам: «Эй, вы, пошлите сюда сотского и приказчика!»

Из лежавших на траве мужиков хоть бы один пошевелился, и только тот же деятельный Спиридон Кутузов, все время сидевший на колоде и что-то такое с жаром толковавший другому мужику, при этом возгласе вскочил и побежал в людскую. Оттуда выскочили и проворно пробежали в кухню наш Кирьян с своей озабоченной рожей и сотский, только что начинавший было багроветь от получаемого им за щами удовольствия. Кирьян, впрочем, вскоре снова показался и начал еще более беспокоящими и оупевшими глазами оглядываться. Заметив возвращавшегося на свое ме-

сто Кутузова, он подкликнул его и что-то такое сказал ему.

– Да где? – спросил тот скороговоркой.

– Да хоть в саду! – отвечал ему Кирьян тоже скороговоркой.

Кутузов побежал.

Кирьян остался на месте и заметно поджидал его. Спиридон, наконец, возвратился с пучком прутьев в руках.

– О черт, мало! – воскликнул Кирьян, сердито вырывая у него прутья.

– Я еще сбегаяю! – подхватил с готовностью Спиридон и опять побежал.

Кирьян стал прутья развязывать на пучки.

– Неровных каких, дьявол, наломал, – говорил он, обшмыгивая и обдергивая их.

Спиридон невдолге принес еще большой пучок, и потом они, что-то такое переговорив между собою, скрылись в кухонных сенях, войдя в которые, дверь с улицы притворили.

Я осмелился приблизиться на некоторое расстояние к кухне. Оттуда слышались голос и харканье исправника. Наконец на крыльце показался прежний длинноносый чиновник.

– Пошлите нашего кучера!.. – крикнул он.

Продолжавший сидеть на колоде мужик, кажется, и

не понял его.

– Кучера пошли! – повторил ему письмоводитель.

Мужик нехотя встал и пошел на сеновал, с которого вскоре и сошел действительно кучер, с заспанной рожей и с набившимся в всклоченные волосы сеном, в поношенной казинетовой поддевке без рукавов, в вытертых плисовых штанах и только в новых, сильно смазанных дегтем сапогах. Неторопливой и спокойной походкой, как человек, привыкший к тому, к чему его звали, прошел он в кухню; я догадался, наконец, в чем дело. Ужас овладел мною окончательно: я убежал в свою комнату, упал на постель, закрыл глаза и зажал себе уши!!!

Обедать у нас подали, чего прежде никогда не бывало, часам к четверем, и, когда я вышел в залу, там все уже сидели за столом и исправник, присмакивая и даже как-то присвистывая, жадно ел щи. Матушка, сама разливавшая горячее, грустно и молча указала мне на место подле себя. Письмоводитель исправнический тоже сидел за столом, уткнувши свой длинный нос в тарелку, и точно смотрел в нее не глазами, а этим органом. Отец был в прежнем раздраженном состоянии.

– Эдакие злодеи, варвары!.. – говорил он, тряся руками и головой.

Исправник хохотнул слегка.

– Красного петушка это по-ихнему называется пустить... Четвертое дело у меня этакое вот на этом году, – говорил он, едва прожевывая огромные куски говядины и хлеба, которые засовывал себе в рот.

– Пятое-с, – поправил его письмоводитель.

– И все бабенки эти?.. Бабенки?.. – спросил отец, продолжая трястись от бешенства.

– Бабенки, да! – отвечал исправник.

Письмоводитель слегка кашлянул себе в руку.

– Одна, по ревности, весь свадебный поезд было выжгла, тремя колами дверь приперла... мужики топорами уж простенок выломали и повыскакали, – проговорил он.

– Самих бы разбойников эдаких на огонь!.. Самих бы! – говорил отец, и глаза его, ни на чем уже не останавливаясь, продолжали бегать из стороны в сторону.

Исправник захохотал полным смехом.

– На огонь?.. В подозренье только оставили! – воскликнул он, устремляя на отца насмешливый взгляд. – У нас вор и разбойник запирайся только – всегда прав будет! – прибавил он и глотнул, как устрицу, огромную галушку.

– Уездный суд еще на нас представление делал, – заметил по-прежнему скромно, но с ядовитой улыбкой письмоводитель, – зачем мы поезжан под присягой спрашивали: они, говорит, лица, к делу прикосно-

венные.

Отец несколько раз повернулся на стуле.

– По Кузьмищеву лучше было! – подхватил исправник и в видах, вероятно, вящего внушения взял уж его за борт сюртука. – Есть там Николая Гаврилыча Кабанцова мужичонки – плут и мошенник народишко... приступили они к нему, – дай он им лесу. Тот говорит: погодите, у вас избы еще не пристоялись... они взяли спокойнейшим манером, вынесли все свои пожитки в поле, выстроили там себе шалашики, а деревню и запалили, как огнище.

Отец от волнения и гнева ничего не в состоянии был и говорить, а только глядел во все глаза.

– Приезжаю я на место, – продолжал исправник, – ну и, разумеется, сейчас же все и сознались... Николай Гаврилыч прискакал ко мне, как сумасшедший. «Батюшка, – говорит, – пощади; ведь я лишуюсь пятидесяти душ, все на каторгу идут». Так и покрыли разбойников – показали, что деревня от власти божией сгорела.

– Что же, и наша женщина созналась? – спросила матушка, каждую минуту трепетавшая за отца и желавшая на что-нибудь только да переменить разговор.

– Как же-с, совершенно во всем как есть, – отвечал ей исправник с заметной любезностью.

– И муж с ней участвовал?

– Совершенно-с! И труту ей приготовил, и лучины нащепал, и стражем стоял, чтобы кто не подсмотрел их деяний.

– Но что же за причина? – спросила матушка.

– Причина!.. – произнес отец и начал растирать себе грудь рукою.

Исправник пожал плечами.

– Спросим ужо об этом... порасспросим, – отвечал он.

– Сам старик, говорят, тут виноват, – пробурчал больше себе под нос письмоводитель.

Отца точно кто кольнул.

– Как старик? – сказал он, кидая на приказного свирепый взгляд; но в это время встали из-за стола.

Исправник расшаркался перед матушкой, поцеловал у нее руку и отправился спать. Письмоводитель тоже пошел уснуть, но только на сеновал, где спал и кучер ихний.

Я вышел на крыльцо и уселся на нем. Ко мне подошла наша дворовая собака Лапка. Я обнял ее. «Лапушка, друг мой, что такое у нас делается?» – говорил я, целуя ее в морду. Она в ответ на это лизнула мне щеку, потом вдруг, завиляв хвостом, побежала от меня к садовой калитке, из которой выходил ее прокормитель и воспитатель по части хождения за утками, тете-

ревами и белками, наш старый садовник Илья Мосеич, в своем заскорблом от старости сюртуке и в сапогах, изорванных по всевозможным местам и шлепавших теперь от мокроты. Лицо Мосеич имел несколько французское – с заостренным птичьим носом, с довольно тонкими очертаниями и с небольшими клочками висевших по щекам бакенбард. Он только что сейчас возвратился с рыбной ловли, ради которой, не докладывая даже господам, на собственные свои деньги нанимал у займовских мужиков тони по четвертаку за штуку, имея в этом случае в виду, что прорвало пятьковскую мельницу, – и действительно: в три раза было вытащено четыре пуда щук, которые он уже своими руками выпотрошил и посолил на погребке, а в Филиппов пост и объявит матушке, что у него рыбы есть и чтобы она не беспокоилась. Теперь он шел за грибами, и тоже больше для господского продовольствия. Я стал просить его взять меня с собой. Илья Мосеич насмешливо посмотрел на меня.

– Что в лесу хорошего взять?.. Пенья, коренья надо перелезть, нагибаться... Господа любят только грибки кушать за столом, – проговорил он с ядовитой улыбкой.

Я, однако, продолжал проситься и почти насильно пошел за ним. Лапка тоже побежала за нами.

Илья Мосеич мог быть назван бесценным челове-

ком для отца и матери: кроме уж поставления рыбы и дичи к столу, он овладевал для них и другими благами природы. Наш огромный сад, который давал до пяти тысяч огурцов, до ста арбузов, до ста дынь, ягод разных на несколько пудов варенья, был решительно его трудами создан и поддерживаем. Мало того, он получал еще за него гоненье, особенно когда весной поупросит или понастрашает и заставит дворовых женщин полоть несколько гряд.

– Ты, старая кочерга, все в свое заведение у меня народ отводишь! – закричит, бывало, на него отец.

Илья Мосеич обыкновенно в этом случае и не оправдывался, а махнет только рукой и уйдет там у себя за какой-нибудь куст или засядет в грядку.

В торжественные дни, когда Илья Мосеич призывался быть лакеем и когда вместо заскорбленной хламиды надевал свой более новый вердепомовый² сюртук, сшитый еще по той моде, когда наши входили в Париж³, он с особенною важностию, как будто бы это была его собственность, подавал, во-первых, ерофеич, настаиваемый травами его произрастения, потом

² Вердепомовый – светло-зеленый (буквально – цвета зеленого яблока).

³ ...когда наши входили в Париж... – После разгрома наполеоновских армий в России русские войска продолжали преследовать войска Наполеона. В 1814 году русская армия вступила в Париж.

квас, который всегда заваривал он, а не поваренок, и, наконец, соленье и особенно зелень. Весьма часто, уставляя закуску, он вдруг, сколько бы тут ни было гостей, указывая на редиску, замечал с внушительной миной: «Двадцать пятого апреля снята!»

При таком, по-видимому, страстном усердии к господам Илья Мосеич в то же время не любил их и несколько уж не уважал, считая себя безусловно умнее их, даже образованнее, так как они хоть и грамоте получены, но читают в книгах все пустяки, а он читал все книги умные, как, например: о лечении домашних животных купоросом, об уходе за пчелами, о разведении свекловицы. Вступая в разговор с каким-нибудь баринном или священником, он никогда почти не говорил прямо, а по большей части рассказывал при этом случае какой-нибудь анекдот или давно случившееся происшествие, из которого уже и выводил, что было ему нужно. Своего брата он тоже больше презирал и не чужд был посудить о нем, и тоже больше все притчей.

– Фомкино у нас выгорело, – говорил я, едва поспевая за ним идти.

– Д-да, Фомкино выгорело, Бычиха горела, Климцово... Солдатово... и много и долго еще будут гореть русские деревеньки, – произнес Илья Мосеич каким-то пророческим тоном.

После того мы все поле прошли с ним молча.

– Прежде народ лучше был... умнее... мудрецов много было!.. – заговорил он, снова обращая ко мне свое вопросительное лицо.

– Какие же? – сказал я.

– Да вот был царь Соломон, – отвечал он, как бы открывая мне новую Америку, – раз приходят к нему две женщины, две бабы дуры! (Мосеич, не совсем счастливый в семейной жизни и более преданный любви к природе, постоянно отзывался о женщинах с не совсем выгодной для них стороны). Одна из них, по нечаянности, ребенка своего ночью и заспала, а как дело пришло к утру, – мать и чужая про живого ребенка говорят: «Это мой ребенок». Царь Соломон берет сейчас свой меч: «Хорошо, – говорит, – коли так, я разрублю вам его надвое...» Мать-то настоящая сейчас и откликнулась. «Ай нет, нет! – говорит. – Это ее ребенок.» – «Нет, – говорит ей царь Соломон, – он твой: ты его жизнь пощадила...» Ей сейчас отдает младенца, а другую велел посадить в острог и на поселенье... Ну, так ведь тоже не все господа цари Соломоны! – заключил вдруг старик и внушительно качнул мне головой.

Попавшийся на пути нам сосняк переменял течение его мыслей.

– Забежать тут надо, отварушечек для папеньки к

ужину набрать! – проговорил он и скрылся от меня.

Я пошел по закраине леса. Мосеич пропал надолго: он забрался, вероятно, в самую глушь; каждая благушка, каждая спорхнувшая птичка обыкновенно занимали его внимание. Я начал, наконец, аукаться и выкликать его и только уж через полчаса сошелся с ним на небольшой открытой поляне. У него была почти полна корзинка грибов, а я всего нашел три или четыре гриба.

– Только-то? Мало же, – сказал он, кидая их с пренебрежением в свое лукошко, – кабы вы не барчик были, а дворовой мальчишка, вас бы за это наказали... и больно... да еще сказали бы, что вы где-нибудь в поле, под кустом, припрягали для батьки и матки.

Я слушал его, далеко еще не понимая, сколь ядовито он для меня говорил.

– Господа говорят, – продолжал Мосеич более уже серьезным тоном (он вообще любил со мной поговорить и нисколько уж не церемонился), – говорят, что мы другого рода – Хамова, а они – от Авеля. Это так, положим! Но ведь иногда и комар лишает жизни льва – все приставать к нему будет, над ухом звенеть, а убить-то тот его не может!.. Мал очень... увертывается... лев терпел-терпел и, наконец, сам себя от гнева загрыз; и это не то, что выдумка какая, а настоящее было.

– Это басня, – возразил было я.

– Нет, настоящее! – повторил настойчиво Мосеич. –

В Абаховском приходе теперь жил помещик по фамилии Хитрецов, еще маненько и сродственник вашему дедушке. Как вот в сказках сказывается о могучем Змее-Горыниче или вепре диком, так и он, пожалуй, был, а после того попался же из-за нашего брата...

На последних словах у Ильи заметно появилась в лице какая-то насмешливая радость; я же, с своей стороны, окончательно переставал понимать, что такое и к чему он все это говорит.

– Или теперича, господи ты боже мой! – продолжал он, пожимая уж плечами и пришедши, видимо, в экстаз своего мышления. – Иностранцы вон к нам разные, венгерцы ходят с духами и лекарствами. «Руска, – говорит, – человек глуп, не может ничего делать». – «Как, – говорю, – постой, брат мусью», – и сейчас нарвал самых простых цветиков и поднес ему к носу. «На-ка, говорю, сделай мне такие духи; а как ты-то носишь, так и я сделаю; да не хочу, потому что и землю и хлеб имею, а ты к нам с голоду пришел: мы к вам не ходим, как незачем».

Мосеич, при всем своем несколько мизантропическом взгляде на вещи, был постоянно большой патриот.

Мне между тем хотелось уж чаю. Я сказал ему о

ТОМ.

– Пойдемте! – отвечал он мне несколько насмешливо. – Баре-то, подумаешь, – начал он после короткого молчания, – поутру чай пьют, кофей, обедают... потом опять чай, ужинают; а мы-то, грешные, едим когда попало и что ни попало.

Дорога, ведущая обратно в усадьбу, открылась перед нами, извиваясь лентой по зеленевшему озимову полю. Лапка, тоже откуда-то появившаяся и только что, вероятно, перед тем придавившая какого-нибудь зазевавшегося зайчонка, была с окровавленным рылом и весело начала прыгать около Мосеича, подскакивать к его руке, лизать ее.

– Вон она, тварь бесчувственная? – сказал он, показывая мне ласково на нее. – А если теперь ладно к птице подошла, прибей ее, поколоти тут, другой раз она все дело испортит: и вертеться станет, и бояться, тревожиться... Человек же и подавно: без вины его наказать – не на хорошее, а больше на худое направит – другой с отчаянности бог знает что накуролесит, как и Машка наша теперь!

– А Марью разве наказывали? – спросил я, обрадованный, что разговор, наконец, склонился на понятный для меня предмет.

– Н-ну! – произнес Илья Мосеич протяжно. – Рано еще вам все знать, молоденьки вы! – прибавил он по-

лушутливо и полунаставнически.

С небольшого пригорка, на который мы вскоре взошли, нам кинулось в глаза довольно уже низко стоявшее солнце. Кверху оно бросало, точно стрелы, золотые лучи, а внизу освещало сзади деревья нашей березовой рощи, которые в весьма заметной перспективе, отделяясь одно от другого, трепетали в воздухе своими зелеными листочками.

Илья Мосеич несколько времени стоял в умилении перед этой картиной.

– Батюшка – наше солнышко! – заговорил он, качая головой. – Всем оно одинаково светит: и большому дереву и малому, и худой траве и хорошей, – а господа так нет, ой, как нет! Только и любят и уважают, что богатых своих подчиненных: они у них умные, и честные, и добрые, а спросил бы, что такое значит богатый мужик. Наипервая бестия изо всех; потому что где мужику взять: он и барину подай, и в казну, и в мир. А руки-то всего две – значит, когда хочешь богатеть, – плутуй! И если теперь наш брат разбогател, разве доброе и хорошее он творить станет, – жди того, как же, пить да жрать, да... В священном писании именно про мужиков, должно быть, сказано, что легче борову свиному пройти в игольные уши, чем богатому в царство небесное, потому что он, аки сатана, со всеми смертными грехами путами спутан.

Сказав это, Илья вдруг остановился. Мы были почти у самого тына нашего сада.

– Вы ступайте дорогой, а я вот туда посеekretней проберусь, а то папенька, пожалуй, увидит. «В эдакое, – скажет, – время, бестия, за грибами ходишь».

Проговоря это, он юркнул в нарочно и, вероятно, издавна уже сделанную лазейку, глухо-глухо заросшую всякого рода зеленью, а потом стал пробираться по самой темной аллее, нагибаясь и прячась за деревья.

«Что это папенька, зачем бранит Илью, – он такой славный», – подумал я, обходя сад кругом.

В воротах усадьбы я увидел, что со двора съезжал исправник в легоньком тарантасе, на тройке с расписной дугой, с колокольцами и бубенцами, с ухарски развязанными на троках пристяжными, которые своими обозленными мордами только что не хватали земли. Я робел и поклонился ему.

– Прощайте, душенька! – проговорил он, делая мне рукой.

Сидевший рядом с ним письмоводитель тоже слегка приподнял фуражку и поклонился, но только не глядя на меня. Вслед за тарантасом ехал на крестьянской лошади и в навозной телеге Спиридон Кутузов, еле-еле примостившийся на кое-как сделанной в передке беседочке, на которой, заняв гораздо большее пространство, помещался также и сотский, оборотясь

лицом к заду. В самой телеге сидели, и вряд ли не привязанные к ней, Марья, покрытая, как повитая невеста, с головы до ног в какую-то крашенину, и Тимофей, тоже с потупленной вниз головой и в нахлобученной почти на самые глаза шапке. В усадьбе было совершенно пусто, и только перед растворенной уж кухней Гришка огромным топором рубил дрова, закусив язык на правую сторону и каждый раз прикряхтывая, видимо, желая тем показать, что он мастер и молодец на это дело. Я прошел через заднее крыльцо в дом и застал там страшную сцену: отец, с пеной у рта, ходил по комнате.

– Меня обмануть? Меня?.. Меня? – кричал он, закидывая голову назад и как бы вопрошая самый воздух.

Матушка, сидевшая тут же в гостиной и при всех его вспышках всегда старавшаяся сохранить присутствие духа, на этот раз едва владела собой.

– Я удивляюсь, как ты этого не знал... я давно это знала, – проговорила было она.

– А, ты знала! Ты знала! – вскричал отец, подбегая уж к ней. – Отчего ж ты мне не сказала? Отчего? – прибавил он, отступая от нее на несколько шагов и выпрямляясь, точно готовый сейчас же произнести ей смертный приговор. – А, ты госпожа, помещица здешняя! Ты все можешь знать и все располагать; а я нищий... голыш, приведенный сюда так... Христа ради?

Врете! Я господин всем вам: и тебе и твоей челяди!

Матушка пожала плечами, и на глазах ее навернулись слезы: это оскорбление было самое горькое и обидное для нее.

– Из чего ты беснуешься, я понять не могу, – сказала она.

– Ты не понимаешь – да! Не понимаешь, что я, может, и двух его первых сношенок погубил... и этих несчастных наказывал; всегда держал его руку... на эшафот их теперь возвел... Какими молитвами отмолить мне у бога эти мои прегрешения?.. Какими?..

– Но ведь ты сам говоришь, что не знал этого.

– Что же, я и теперь не знаю!.. Я сам, своими глазами, видел ее показания... он ей проходу не давал – все адресовался, а что она «нет», так бил ее и сына. Мне и идти теперь благодарить его: благодарю, батюшка Михайло Евплыч, покорно, что вы развратили всю вашу семью и мне случай в том поспособствовать вам дали.

– Его и без тебя уж бог покарал, потом накажут и по закону, по суду! – заметила кротко матушка.

– А, да! По закону, по суду, – вот что! – воскликнул старик с ожесточенным смехом. – А ты слышала, что исправник говорил? Слышала? Есть у тебя уши? Так нет же! Врете, я его накажу! Я!.. Кирьяна мне!.. Кирьяна...

Последние слова он едва уже выговаривал.

Припадок гнева в этот раз так был силен в нем, что даже матушка встала и ушла от него.

– Пошлите к барину Кирьяна, – сказала она, проходя девичью и сколько только могла спокойно, горничным девушкам.

Те побежали.

Я, все время тихонько сидевший в зале, плача и обмирая от страха, решительно не знал, что мне с собой делать.

– Кирьяна... Кирьяна! – продолжал между тем шептать отец, скрежеща зубами и сжимая кулаки.

Через несколько минут Кирьян, позеленевший от страха, стоял перед ним.

Отец так и впился в него глазами.

– Возьми сейчас, – заговорил он прерывающимся голосом, – этого Евплова... стащи его за волосы с печи... кинь его в телегу и вези за исправником... скажи, чтоб его на поселенье взял... Не надобно мне его... Писать я теперь не могу, после все напишу... после...

Кирьян хотел было поскорей убраться.

– Но если же ты его не довезешь, если не отдашь там, я тебя самого убью и растерзаю, – закричал уж на него безумный старик и побежал было за ним.

– Помилуйте-с! Сейчас все исполню, – отвечал тот, едва успевая затворить перед ним за собой дверь, и

потом действительно никто уж и не видал, как он собирался, захватил с собой Михайла и уехал.

Отец между тем возвратился в гостиную и, тяжело дыша, опустился на диван. Несчастные припадки гнева всегда кончались для него ужасно: его обыкновенно оставляли одного в комнате, притворяли в ней дверь и подавали ему только холодной воды. Все это повторилось и теперь. Мать пересела к дверям гостиной, чтоб прислушиваться, что там будет происходить. Я поместился около ее колен и стал целовать ее руки.

– Для тебя только, друг мой, и желаю я жить на свете, – проговорила она, поцеловав меня в голову и отерев катившиеся по ее щекам слезы.

Я разрыдался окончательно, так что она едва утешила и успокоила меня.

К вечеру по дому распространился новый ужас: исправник не принял Михайла Евплова, говоря, что он стар идти на поселенье.

– Батюшки! Отцы мои! Что теперь будет? – провопила даже старуха Афимья, более всех привычная к гневу барина и всегда с каким-то стоическим спокойствием его переносившая.

Кирьян, привезя Михайла Евплова назад, не распрягая лошади, убежал в лес, говоря, что он и не придет, пока барин гневаться будет. Сказать отцу о реше-

нии исправника осмелилась, разумеется, одна только матушка, но я видел, чего ей это стоило: вся взволнованная и беспрестанно обращая взор на образ, она несколько раз подходила к гостиным дверям и, наконец, уже вошла. Я бросился за ней и приложил глаз к замочной скважине. Что она там сказала, я не слышал, но только отец вдруг поднялся.

– Хорошо, я сам его упрятаю, – сказал он по наружности спокойным, но в самом деле еще более раздраженным голосом, – велите коляску мне заложить, а мерзавца этого, скажите, чтобы везли за мной в полумиле.

Матушка беспрекословно исполнила его приказание. Часов в двенадцать ночи он уехал. Два дня, пока его не было, она была на себя не похожа, беспрестанно тревожилась и все чего-то ожидала. Наконец отец возвратился и был совсем уж больной. Его прямо привели в его комнату. Он тосковал и стонал на весь дом.

– Что, папаша чем болен? – спросил я мать.

– Обыкновенно, как и всегда, мучится и терзается... сам наказал, а теперь и жалеет всех... – отвечала она.

С детской души моей, как перестали на нее действовать неприятные впечатления, сейчас же все и слетело: на другой день я уже спокойнейшим манером пахал сохою собственной работы на Гришке гряд-

ку в саду, и, что всего удивительнее, этот малый, лет почти восемнадцати, с величайшим наслаждением играл со мной в эту игру, непременно требуя, чтоб я его взнуздal, и чем глубже я упирал соху в землю, тем старательнее и рьянее он вез ее. К нам подошел Моисей с лейкою в руке.

– Землю пахать – самое приятное для бога занятие, – сказал он.

– Приятное? – переспросил я, очень довольный, что он хвалит мою выдумку.

– Да!.. И если бы вот даже этот дурак Евплов не мытарничал, а кормился бы больше, как следует мужичку, землицей, не был бы там, куда угораздился.

– А куда его, дядюшка, барин увез? Далече ль? – спросил уж Гришка.

– Далече, в место хорошее, – сказал Илья и скрылся за одной из куртин.

V

Начинало темнеть, когда я в нынешнем году подъезжал к Фомкину. Рядом со мной в коляске сидел приказчик мой Семен, ужасно конфузясь, ежась, отодвигаясь от меня и боясь, кажется, прикоснуться одной точкой своего кафтана ко мне. Измученные извозничьи лошади легонькой рысцой тащили нас в гору.

Я оглядывал окрестность; все было очень знакомо: при въезде в село покачнувшаяся на сторону и точно от сотворения мира тут стоявшая толчея, а подалее небольшая площадь, на которой собирался по праздникам народ; в стороне от нее дом священника, несколько побольше и покрасивей других, на погосте деревянные кресты и единственный каменный памятник на могиле моего деда и, наконец, сама белая церковь. С какой-то болью врывались мне в сердце воспоминания: мы... мне лет восемнадцать... у прихода... день такой, кажется, восхитительный; толпа народа кипит перед храмовыми воротами. Она тоже в церкви... это можно догадаться по уродливому экипажу и по тройке вятских лошадок, стоявших у дома отца диакона. Я иду в церковь. Сердце мое так и рванулось от правого клироса, около которого я стал, к левому; накуренный ладан кажется мне величай-

шим благовонием, иконостас великолепным, а она, в белом платье и белой шляпке, превыше всех красот земных. Но между тем что было во всем этом: и в ней и в самом народе?.. Ничего, кроме моей молодости!.. Хоть бы один день, один час того счастья, с которым изживались прежде целые недели, месяцы, и за это возьмите все, что впереди, где только и мелькают, как фурии, ниспосланные вас терзать, недуги тела, труды и скорби наболевшей души вашей и целое море житейских нужд и забот.

– А что, – обратился я к Семену, – будет у нас в Фомкине по пяти десятин на душу?

– Будет, кажись! После одного снохача теперь земли-с пустой стоит тягол на пять.

– Какого это снохача? – спросил я, смутно припоминая все, что сейчас рассказал.

– Крестьянин ваш бывший, – отвечал Семен, – папенька ваш тогда разгневался на него и продал его. Всего за десять рублей ассигнациями и уступил-с.

– За десять?

– Да-с, – отвечал Семен и потом с обычной своей скромностью слегка польстил мне: – Ведь не так, как вы-с: покойник, бывало, рассердится, так точно рас-судку лишался, а после все у них отойдет это.

– Отойдет?

– Все-с! И чем уж они тут человека ублажить не же-

лают: тогда за Михайла Евплова-то сноху и сына при мне-с... мальчиком я ездил с ним... давали исправнику тысячу рублей, чтобы их ослободить от поселения. Ну, да тот тоже не взялся. «Я губернатору уж, – говорит, – описал о том».

– А Михайло Евплов кому был продан? – полюбопытствовал я.

– Да так тут, в Зеленцине, был дворянинишко самый бедный; почесть, что ни самому, ни прислуге есть было нечего: Михайла Евплова стал уж в пастухи отдавать... в семьдесят-то лет за телятами бегать... Папенька ваш жалел тогда старика. «Откуплю, – говорит, – его назад: хоть пятисот рублей на то не пожалю» – ну, да тот помер тоже невдолге.

– А за что отец так рассердился на него? – спросил я.

Семен несколько смешался.

– Глупости разные у себя в семействе заводил-с... – отвечал он с расстановкой. – Младшая-то сношенка попалась женщина честная, не захотела того.

– А здесь это в заведении? – заметил я.

– Есть-с! – отвечал Семен таинственно.

– Да как же они это делают?

– Да кто ж им может в том воспрепятствовать! – возразил он мне с некоторым даже одушевлением. –

Батько, родитель – одно слово, и который особенно теперь побогачей, так в дому-то словно медведь корежит: и на работу посылает, сколько ему надо, и бьет, особенно этих женщин и малолетних, чем ни попапо... Ужасные злодеи и тираны-с!

Мы въехали в усадьбу. Несколько человек дворовых, и все больше старики, встретили меня. Совсем сгорбленный и почти уже слепой Кирьян высадил, однако, меня из коляски под руку. Две женщины, тоже старухи, проговорили: «Ну, вот, батюшка, дождались мы и вас!» Я прошел в дом и, увидя отворенный балкон, не утерпел и вышел на него посмотреть на сад – он точно весь почернел и совершенно заглох по всем некогда прозрачным и зеленым аллеям. На куртинах и на лугах росла такая дичь-трава, что и взглянуть было неприятно. Все это некогда обряжавший и приводивший в порядок Илья Мосеич давно уже умер и, вероятно, сам составлял какую-нибудь часть той природы, которую так любил. Сойдя с балкона, я прошелся по гостиной, где сердился отец, заглянул в спальню, где скучала и молилась мать, и, наконец, в свою темненькую комнату.

Чтобы оторваться от этих хоть и дорогих, но все-таки тяжелых воспоминаний, я велел себе постелю приготовить в зале, как самой пустой комнате и более похожей на сарай, чем на жилое место; но заснул толь-

ко утром, чувствуя, что руки и ноги у меня холодеют, а на лбу выступила холодная испарина. «О, если бы забыть прошедшее и не понимать будущего!» – мерещилось мне в тревожном сне.

Примечания

Впервые рассказ напечатан в журнале «Русское слово» за 1862 год (кн. 1, январь) с датой: «27 октября 1861 г. С. – Петербург».

Рассказ был перепечатан в четвертом томе издания Стелловского с небольшими поправками. Отметим лишь одно существенное исправление: в конце третьей главы после слов «Я несколько поуспокоился и опять улегся...» (стр. 534) в тексте «Русского слова» была фраза, не вошедшая в текст издания Стелловского: «Зарождающийся ипохондрик, видно, и тогда уже во мне начинал наклеиваться».

Рассказ был опубликован в самый разгар скандала, вызванного фельетонами Никиты Безрылова, и поэтому не был отмечен критикой тех лет.

В настоящем издании рассказ печатается по тексту: «Сочинения А.Ф.Писемского», издание Ф.Стелловского, СПб, 1861 г., с исправлениями по предшествующим изданиям, частично – по посмертным «Полным собраниям сочинений» и рукописям.